

А. И.  
КУПРИН

*Избранное*



# Александр Иванович Куприн

## Наташа

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2547605](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2547605)*

### **Аннотация**

«Было это в 1898 году, поздней весной. В большой приморский южный город только что прилетели скворцы. Направлялись они на север, в черноземные, жирные богатые полосы России, на прошлогодние гнезда, а в южном городе остановились только для того, чтобы передохнуть после тяжелого перелета над Средиземным морем и, отдохнув, лететь дальше, в милую родную страну...»

# Александр Иванович Куприн Наташа

Было это в 1898 году, поздней весной. В большой приморский южный город только что прилетели скворцы. Направлялись они на север, в черноземные, жирные богатые полосы России, на прошлогодние гнезда, а в южном городе остановились только для того, чтобы передохнуть после тяжелого перелета над Средиземным морем и, отдохнув, лететь дальше, в милую родную страну.

Прилетели они утром, чуть свет, и огромными, темными стаями густо расселись по карнизам, выступам, желобам и по архитектурным украшениям самых богатых, самых красивых зданий города.

Коренные, старые жители, направляясь, по привычке, в излюбленные кофейни, искусно перебежали тротуары, на которые обильно шлепались сверху белые, липкие комочки. Но никто не жаловался. Все в городе знали, что через день-два после скворцов, как и всегда, развернутся мелкие почки белой акации, и весь город, со всеми своими пригородами, фонтанами и лиманами, погрузится в тяжелый, сладкий, возбуждающий аромат, магическому действию которого одинаково подвержено и послушно все живущее, дышащее и дви-

жущееся, верный знак тому, что пора разъезжаться на дачи.

Вот в один-то из таких упоительных, сумбурных, теплых дней приехала в южный город Наташа и остановилась на Двадцатом Фонтане, на даче своего дяди Егора Ивановича Богомолова, юрисконсульта общества РОПиТ, то есть Русского общества парходства и торговли. Прибытие ее в суматошливые, тревожные дни скворцов и акаций имело как будто какое-то особое провиденциальное значение, и никакого иного букета на груди Наташи нельзя было придумать, как свежий пучок белой акации, который ей еще на вокзале навязал бесплатно чернокудрый, грязный мальчуган, продававший газеты.

Она была еще очень молода: без малого шестнадцати лет. Но крепкое и гибкое ее тело уже сформировалось заметно для глаза.

Ни красивой, ни – даже – хорошенькой ее нельзя было бы назвать. Черты ее свежего, дышащего здоровьем лица были несколько грубоваты. Немножко слишком длинный нос, чересчур полные и красные губы. И все-таки она была прелестна, – другого слова не найдешь, хотя опять-таки никто бы не сказал решительно, в чем именно заключалась тайна ее непреодолимого, мощного и безыскусственного обаяния.

Она была высока ростом, с волосами каштанового цвета, переходящего в рыжий. Странные у нее были глаза: то синие, то фиолетовые, то светло-голубые, все в зависимости от угла освещения. Ночью же в закрытом помещении ее глаза

изредка светились густо-лиловыми огоньками, как они иногда светятся у лошадей. Руки у нее были не мягкие, но всегда теплые и с удивительно приятным пожатием, а говорила она низким контральто, с легоньким порою хрипом, – голосом, так странно волнующим старых прелюбодеев. Но петь она не умела, хотя и любила всякую музыку, от гнусавой шарманки до симфонического оркестра.

Женщины ее не любили, сторонились от нее, находили «совсем неинтересной и скучной», но все же не решались отзываться о ней дурно. Даже в простом невинном девичьем кокетстве ее нельзя было обвинить. Ей было чуждо даже инстинктивное, бессознательное влечение пленять сильный пол взорами, словами, позами, вздохами, улыбками и игрой тела. Нет! Очаровывали в ней мужчин: ее страстная любовь к невинным, первоначальным радостям жизни, божественное великолепие ее расцветающего тела, тембр ее голоса, запах ее дыхания, пахнувшего так, как будто она только что жевала цвет шиповника или ароматную травку; магнетические, зовущие токи, исходившие из ее рук.

Ни один мужчина не мог спокойно глядеть на нее. Каждому казалось, что ее открытый и стыдливо откровенный взгляд говорит: «Да! Я созрела для любви, для сильных мужских объятий, для протяжных поцелуев, для неопишуемых наслаждений, которым не будет конца. И все это для тебя, для тебя, мой любимый, мой избранный, мой единственный в мире». Но это говорила созревшая женская душа. Сердцем и

воображением Наташа была чиста и бесстрашна.

Даже ни одна позорная книжка не коснулась ее непорочных мыслей.

Один ученый (имя его теперь трудно восстановить), наблюдавший за жизнью насекомых, сделал чрезвычайно интересный опыт. Он достал в своем цветнике несколько женских коконов бабочки, называемой, ну, хотя бы Z. Эти коконы он поместил в стеклянный большой ящик, совершенно загороженный от света и помещенный за окном. И вот, когда эти коконы в положенный срок стали разворачиваться и из них наконец выползли бабочки-самки, то на другой же день ученый увидел, что все наружное окно его лаборатории усыпано бабочками-самцами, которые бились, стремясь прорваться через непреодолимое стекло. А главное, все эти самцы были из породы Z. Как они могли узнать о присутствии самочек, если их не было ни видно, ни слышно и пыльца их никак не могла вылететь за пределы лаборатории? И ученый на это ответил: «В великолепной книге о вопросах пола мы еще не прочитали и первой страницы. В моем же опыте я могу предположить и допустить одно решение. Вылупившиеся из коконов бабочки-самки, с первого момента своего появления на свет божий, уже начинают свою половую жизнь нетерпеливым зовом самца. Как они это делают? Нам неизвестно. Может быть, у них есть возможность посылать в круговое пространство какие-то бесконечно малые вибрирующие токи, для восприимчивости которых у самцов

есть надлежащие приемники. Но, увы! Все это – лишь голая гипотеза!»

Впечатление, которое производила Наташа решительно на всех мужчин, было и несомненно и до очевидности мощно. В трамваях, в омнибусах, в театрах, церквях и на железных дорогах мужчины с открытыми ртами не переставали пялить на нее глаза. На улицах ей подолгу глядели вслед и часто шли за нею два-три квартала. Даже извозчики и ломовые по многу раз оборачивались назад на своих сиденьях, чтобы снова увидеть ее. Там, у себя дома, в Рязани, ей уже давно начали делать предложения руки и сердца, с рыцарской готовностью ждать, ввиду юных годов Наташи, хоть пять, хоть десять лет. Но, очевидно, она была бабочкой породы Z, а ее обожатели носили другие литеры, и она уехала из «косопузой» Рязани в блестящий, чисто европейский, южный город, где и море, и театры, и лиманы, и фонтаны, и студенты, и опера, и милый дядя Жорж.

Дача Егора Ивановича Богомолова на Двадцатом Фонтане называлась «Ширь». Ее бы вернее можно было назвать «Глубь», потому что располагалась она на самом краю крутого обрыва, сбегавшего в море. Он уже начинал осыпаться; даче грозила неизбежная судьба рухнуть в один злосчастный день вниз и покатиться кувырком в воду. Но в беспечном, живучем, веселом южном городе кто же стал бы обращать внимание на такие пустяки? Все лето, с утра до вечера, маленькая дача, благоухавшая петуньями и душистым го-

рошком, бывала полна молодыми и молодящимися людьми. Это Наташа приманивала их таинственной вибрацией невидимых лучей, исходивших из ее сильного, жадно зовущего, горячего тела.

Кого там только не перебывало! Художники (они себя называли южнорусскими художниками), актеры, певцы, социалисты разных толков, доктора, студенты, лохматые поэты, страховые агенты, великолепно одетые франты с грязными ногтями и люди без определенной профессии, пехотные офицеры местных полков и так без конца... Целый день ели и пили, сбегали вниз купаться, ездили на велосипедах, катались на лодках, устраивали пикники, спорили, орали, шпиговали друг друга злыми шпильками. Но центром всего этого движения и бурления была, конечно, она – спокойная магнитная Наташа, глядевшая на мужчин, точно глядела сквозь них в пустое пространство. Более других, по-видимому, обращал на себя ее внимание некто Птицын, давняя знаменитость южного города, ярый спортсмен, велосипедный гонщик, боксер, легчик, пловец, бегун на громадные расстояния, чемпион в парусных состязаниях, притом еще огненно-рыжий и заика. Он говорил Наташе со своей обычной комической серьезностью:

– Вы, Нната-ша, не п-представляете, как я п-п-п-опулярен в г-городе. Когда еду на м-м-ашине, т-то мальч-чишки мне кричат: П-тицын! Ры-ж-жий пес!

Вероятно, он Наташе нравился потому, что в постоян-



ной бешеной карточной игре и в неумеренном употреблении наркотиков он потопил все свои специально мужские наклонности. Его общество не волновало Наташины нервы и не раздражало ее терпения бесконечным повторением возвышенных и сальных пошлостей.

Но однажды милый Птицын принужден был исчезнуть из дачной компании и исчез навсегда, к большому огорчению Наташи. Дело в том, что отчаянный рыжий спортсмен, как-то не вовремя, при большом стечении гостей, сказал слова:

– С-с-с-о-ба-ба-бачья св-вадьба!

Егор Иванович рассердился, сделал ему резкое замечание и упомянул что-то о «моем доме». Птицын ответил хладнокровно:

– Т-т-ак я лучше уйд-ду.

И ушел навсегда.

Из остальных ухаживателей (а ими были все посетители дачи «Ширь») никто не тревожил Наташиного сердца. Все они, включая сюда и лысоватого дядю Жоржа, казались ей пустыми говорунами, скучными приставами, жалкими и смешными имитаторами вулканических дьявольских страстей. Когда ее целовали, она спокойно и деловито вытирала платком губы и щеки и говорила:

– Ну, зачем вы делаете глупости? Все ведь это одно притворство! Как вам не стыдно?

Да и в самом деле, странно и смешно было смотреть, как эти уже не молодые интеллигенты неуклюже и неправдопо-

добно волочились за простой, безыскусственной, провинциальной барышней.

Седоватый доктор Рябчиков, он же молодой порнографический писатель, то и дело упирался глазами в грудь, в ноги, в живот или в открытую шею Наташи, и, когда та густо покраснела, он, сладострастно сюсюкая и задыхаясь, приставал:

– А отчего Наташенька покраснела? Почему рака спекла? А я видел все, все, что есть. Только никому не скажу, никому.

Художник Свербуков постоянно упрашивал Наташу позировать ему «для всего». Он уверял, что пропорции Наташиного тела как раз совпадают с пропорциями Венеры Милосской, что в Париже, в Луврском музее. В доказательство он распускал холщовый сантиметр и до тех пор измерял Наташу, пока она <не> вырвала из его рук сантиметр и, бросив его на землю, не убежала, как дикая коза, из дачи в парк.

Певец Изорченко, лауреат театра «Ла Скала» в Милане, друг Тито Руффо и второй в мире после него баритон (так он, по крайней мере, говорил), проводил время в том, что хрипел хрюком, откашливался и харкал на землю.

– Осенью, – поговаривал он, – поеду в Италию, в Сальцо-Маджиоре. Там все мы, известные певцы-артисты, проходим йодистое лечение в «аква madre» для восстановления уставшего голоса.

Наташа едва терпела его сообщество. Но однажды, когда он неожиданно и грубо схватил обеими руками ее нежные, упругие груди, она своей большой и красивой рукой зале-

пила ему такую великолепную, такую звонкую, такую совершенную пощечину, что толстый баритон не удержался на жиденьких ногах, рухнул на траву и сказал, пуская ртом пузыри: «Ну, это уж свинство!» Яркие следы всех пяти Наташиных пальцев рельефно отпечатались у него на щеке, и он с той поры не показывался в «Шири»...

Да что говорить: Наташины многочисленные поклонники были такой же городской дрянью, людишки, выдумавшие самих себя по старым жалким образцам, точно нарядившиеся в затасканные, ветхие, грязные костюмы, выкопанные из помойного мусора.

И ни одного человека!

Наташа равнодушно скучала. Родная Рязань сквозь блеск большого южного города стала все чаще мерещиться ей, как тихий отдых на густой траве, под белыми березами, источающими чудесный смолистый запах.

И вот явился наконец настоящий человек. Именно тот самый человеческий самец, порода которого, так же как и Наташина порода, была обозначена небесным профессором через литеру Z.

Он не приехал и даже не пришел, а скорее притащился, потому что на спине у него, подвязанный ремнями, висел тяжелый кожаный ранец.

На балконе в это время пили вечерний чай. Спускались сумерки. Разноцветные фонари горели на перилах. Путник, не входя на ступени, ловким движением левого плеча сбро-

сил свой солидный груз на землю и сказал мощным, глубоким голосом (всем сначала показалось, что он крикнул или запел):

– Богомоллов! Богомоллов Егор!

Егор Иванович вышел из-за стола. Он загородил ладонью глаза от света, глядел и все же не узнавал пришельца.

– Простите. Ей-богу, не могу признать. Никак не припомню...

– Да и не мудрено, – свежо смеясь, ответил пришелец. – Ну, вот тебе: таганрогская гимназия, пятый класс. Гимназист Герд, по прозвищу «Робинзон Крузо».

– Батюшки, – всплеснул руками Богомоллов, – а ведь это ты же все собирался убежать в Америку? А потом ты пропал и с тех пор как в воду канул, и найти тебя так никогда и не удалось, сколько ни искали? Что за чудо – твое внезапное появление. Однако дай я тебя познакомлю с семьей моею. Вот жена, вот дочка, двое мальчишек и племянница. Да садись-ка, садись за стол. Дамы тебя напоят чаем.

Но от чая он отказался. Попросил позволения заварить себе аргентинскую травку матэ, к которой привык на юге Америки, шатаясь несколько лет с ковбоями. Он достал из своего кожаного ранца горсточку серо-зеленой сухой травы и бросил ее в кипяток. Потом вынул оттуда же серебряное ситечко и серебряную трубочку и стал медленно втягивать ртом буроватую влагу.

– Без этого зелья, – говорил он, – не обходится в тропиках

ни один всадник, выполняющий тяжелую работу. Матэ так же неразлучно с ним, как длинные многозарядные пистолеты и лассо, свернутое бунтом. Травка, по правде сказать, неважная на вкус и невыразительная... Хотите попробовать?.. Но выпьешь ее, и усталость как рукой снимет, и самое кислое настроение сменяется бодрым и жизнерадостным. Прямо – волшебная травка. Кто к ней привык – отвязаться трудно.

Его стали расспрашивать об американской жизни и о приключениях. Он рассказывал охотно, но как-то уж очень деловито и сжато. Все эти великие реки, высоченные горы, непроходимые болота, безграничные пампасы, крокодилы, удавы, ядовитые насекомые, буйволы и краснокожие индейцы – все страшные чудеса, заставлявшие женщин вздрагивать, казались ему давно приевшимися, давно неинтересными вещами и явлениями.

Он убежал из дома не из-за робинзонства, а потому что не мог более переносить вечной ненависти и грубых попреков истеричной, злющей мачехи. Сначала ему удалось попасть юнгой на большой парусник. Потом он стал стюардом на пассажирском пароходе, затем ковбоем в Техасе, дальше – работал в цирке, был жокеем на скачках, разводил свиней и так далее и так далее. Он изъездил Америку от Канады до Мексике и от Сан-Франциско до Чикаго.

Он знает в совершенстве одиннадцать ручных ремесел и до сих пор не перестает в них упражняться. Теперь он стоит (как говорят в Нью-Йорке) около тридцати тысяч долларов;

немного больше. Лет через пятнадцать у него будет их сто. А теперь он задумал вместе с двумя компаньонами открыть экспорт американских лошадей в Старый Свет. Его – знания, компаньонов – деньги. «Но кроме того, я хочу жениться, и непременно на русской девушке. Американки хороши для представительства, как вывеска для мужниных «бизнес», но в деле они плохие помощницы, избалованы. Ах, это уже не отважные, трудолюбивые спутницы прежних старинных трапперов, суровых культивизаторов Северной Америки!»

Он говорил дальше. Наташа глядела на него, не отрываясь и, от напряженного внимания, слегка полуоткрыв рот. Впервые ей так нравился весь этот мужчина, рослый и загорелый, с двумя глубокими, вертикальными, серьезными морщинами на лбу и с почти детской улыбкой, показывавшей на мгновение все его крепкие зубы, слегка желтоватые, как старая слоновая кость.

Он говорил спокойно и уверенно, не ища и не подбирая слов. Легкий американский акцент едва чувствовался в его речи, не портя ее; руки и короткий, едва уловимый жест умно оживлял порою его слова. И еще заметила Наташа, что иногда широкие ноздри Леонида Герда вдруг раздувались, и в эту секунду глубокий голос его звучал тише и еще глубже, а в коричневых глазах, внутри их, зажигался золотисто-желтый, бегучий огонек.

В общем, этот русский американец, свалившийся на да-

чу «Ширь», точно с неба, производил простое впечатление большой физической и моральной силы, вместе с упругой выдержкой и редким самообладанием.

В начале десятого часа он поднялся из-за стола и сказал:

– Простите, я сегодня по делам изъездил и избегал весь южный город, очень устал и, с вашего позволения, пойду спать.

Егор Иванович предложил ему для ночлега свободную комнату в мезонине, где отлично можно было постлать постель на диване. Но Герд любезно отказался: – Я с давних пор сплю на открытом воздухе. Такая уже привычка, еще с Техаса. В комнате, даже очень обширной, мне всегда кажется тесно и душно, и я подолгу не могу заснуть. Ты, Егор, обо мне не беспокойся. В моем походном саке имеется превосходная кровать, а если хочешь, даже и небольшой домик с крышей. Главная для меня задача найти такой кусок земли, откуда меня никто не погонит: ни владелец, ни арендатор, ни городской сторож. Есть такая земля – сделай милость.

Землю Богомоллов придумал. Шагах в ста от «Шири» был большой запущенный и заброшенный участок Ковалевских. Туда и днем люди избегали заходить, таким он казался нелюдимым и скучным. А посередине его возвышалась полуразрушенная временем, некогда историческая, ныне всем светом забвенная башня. На нее однажды взбирался отчаянной души летчик Птицын и, сойдя вниз, сказал: «Ничего, кроме мусора и лет-т-тучих м-м-мышей».

– Вот, эта самая башня мне годится, – сказал Герд. – Проводи меня туда, сделай милость.

Они пошли, за ними увязалась вся семья. Полный месяц стоял на небе. Стрекотали кузнечики. Пахло горько и мило полынью. Просто весело было смотреть, с какой быстротой и ловкостью изготовил Герд свой ночлег. Щелкнул какими-то кнопками, растянул в четыре стороны квадратный кусок тугой парусины, покрыл ее шерстяным одеялом, и у него образовалась прочная, пружинистая кровать.

– А если дождь, – сказал он, – то у меня в запасе непромокаемый брезент.

Все нашли его логовище и удобным, и оригинальным, и практичным, и даже изящным.

– А вы не боитесь тарантулов и скорпионов? У нас их много, – сказала госпожа Богомолова.

– Э, пустяки, – отозвался он. – Кругом меня шерстяная материя. А все эти ядовитые твари ужас как боятся овечьей шерсти. И знаете, почему? Потому что овцы уже в продолжение многих сотен тысяч лет с великим удовольствием их пожирают. Они для овец – как сыр рокфор для француза-лакомки.

Потом все распрощались. Но Герд на минуточку оттянул Богомолова.

– Мне с тобой, Егор, надо кой о чем важном переговорить, – сказал он. – Нет ли здесь поблизости какого-нибудь ресторана, где можно за коктейлем поболтать минут десять



– пятнадцать?

– Ресторан есть, и очень недалеко. За коктейль не ручаюсь, но ваша излюбленная сода-виски найдется.

– Пойдем же.

Трудно сказать, о чем они беседовали в эту лунную ночь, в третьестепенном кабачке «Венеция», но оба разошлись задумчивые, серьезные и, по-видимому, не сговорившиеся. А на другое утро, часов в семь, русский американец опять пришел на дачу «Ширь». Наташа, точно поджидавшая его, быстро сбежала вниз, по лестнице.

– Вот, Наташа, – сказал Герд серьезным, даже, пожалуй, торжественным тоном (и он был бледен), – вот моя куртка, а вот пуговица от нее. Пришей.

Он так и обратился к ней на «ты». И Наташа, точно понимая душу и тайну этого фамилиарного обращения, ответила с готовностью:

– Да. Я это сделаю с удовольствием и очень прочно. А когда она кончила пришивать пуговицу, он положил на стол мокрый мешок и сказал:

– Вот моя утренняя добыча. Здесь двенадцать бычков, которых я нынче утром выудил, а это – убитые мною птицы жербаи. Иди и приготовь мне завтрак. И знай, что все то, что мы с тобою делаем, – это обряд помолвки у краснокожего племени сууксов.

– Я твоя, – так же серьезно ответила Наташа. – Я ждала тебя.

– Знаешь ли ты, что мне тридцать шесть лет?

– Ты прекрасен.

– Подумай, не очень ли я стар для тебя?

– Я тебя люблю, – ответила она и поцеловала его руку. А

он поцеловал ее в темя.

А вечером они уехали в железнодорожном вагоне туда, в родную Наташе Рязань, чтобы вступить в христианский брак после языческой помолвки.